

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ДОЖДЕТСЯ

Этюд о Гоголе

Какая маленькая жизнь... короткая...

А вмещается в её непонятные, смертные границы – океан.

Океан чувств. Океан раздумий. Океан событий.

Океан огня.

Океан безмолвия; что слова? Хоть в начале и было Слово... Слово...

Оно есть Бог. А диавол? Где же прячется при этом диавол?

Нужен ли диавол человеку так же, как нужен Бог?

Сколько лет отпущено человеку на земле? Он не знает. В этом незнании – сила. Сила надежды. Сила порыва вперед. Сила создания, со-зидания. Разве не для того, чтобы повторить демиургическое небесное начало, на земле человек обитает? Он только с виду маленький. С виду – Акакий Акакиевич Башмачкин. Художник Чартков. Кузнец Вакула. На самом деле он – громадный. Вселенски необъятный. Вселенная, вот что такое человек. Океан! Океанище!

Гоголь-Яновский, вот какова была его родовая фамилия; и на роду ему было написано – писать; а что же такое писать буквы и складывать их в слова, а слова в чудеса, то пугающе-страшные, то волшебнo-менящие, как не отражать собою Божий мир?

«Николенька, ты зеркало», – так мог невнятно шептать он себе, стоя у матушкина зеркала и вылавливая там, будто в серебряном пруду, немых золотых рыбок – скольжение взгляда, всё мимо и мимо, вспышки догадок, боль сожаленья, прозрачные беглые, быстрые слезинки

по скулам, по щекам. Кукушка, кукушка, накукуй, сколь я годов на свете проживу!

Ещё ребенком он думал о смерти. Ничего необычного в этом нет. Дети гораздо ближе к смерти, чем мы можем представить; они из неё вышли, а далеко не ушли, живут рядом с нею, качаясь, балансируя на грани, на опасном стыке миров.

Малютка Николенька Гоголь, вон он, вон его ведут за крошечную тёплую ручонку в храм. А во храме – во всю стену – будто печь горит, пылает фреска: намалёван Страшный Суд, и застывает ребёнок Гоголь у грандиозной, на полнеба, росписи, и зрит чертей, выпрыгивающих из Адского пламени, и видит праведников, с блаженными ликами возносящихся ввысь, к солнечно сияющим, пухлым облакам. По лицу мальчика текут слёзы. Девки парубков локтями толкают под рёбра: «Тю, дывысь, барчук рыдае!»

А фреска-то совсем не Вселенская, приглядишься, жалкая да смешная, покрашена пьяным хуторским богомазом, и у святых и у чертей лица странно напоминают здешних помещиков, их челядь и их крестьян. Жёлтой краски для огня не хватило, и богомаз густым суриком пламя щедро нарисовал на церковной стене. Николенька поднял ручонку, заслонил ею глаза и тонко вскрикнул: «Кровь горит!..»

Мать подхватила его на руки и вынесла вон из храма, крепко прижимая к груди.

Сорок два года – опасный возраст. Да что говорить; тридцать семь, как выяснилось, для поэтов тоже рубеж опасный. Рядом, рядом ходит диавол. Вера – единственное, что может одолеть тьму. Человек без веры – прах. Он без Бога – болен. Не дай Бог остаться без Бога на краю пропасти. Смерть!.. где твоё жало!..

Слова жалят острее, больнее смерти.

Они все думают: слова – жизнь. Это огромное зеркало, жизнь, давно разбито – на слова, словечки, словечушки, ахи, вздохи, бормотания, клятвы, которым не веришь, молитвы, которые, шепча, на ходу забываешь. И слова превращаются в твоё наказание. Ты впускаешь их в себя – так человек дышит, так ты, человек созидающий, дышишь подарком и наказанием Бога. Ты глядишь словам в лицо. Ты понимаешь: не такие!.. не то!.. Всё не то. И никогда не станет ТЕМ. А что же такое ТО?.. Оно самое?.. несказуемое... Зачем словами продираться сквозь чащобу слёз к нему, к бессловесному, к священной боли немоты?

Писательство лечат? Это род сумасшествия? Да оно неизлечимо. Оно – метка, пожизненный шрам; зола и сажа того Адова кострища, со стены в церкви его украинского детства. Как он часто болел! И как часто лечили его! Иной раз пользовали врачи, и очень даже знаменитые, чванные; иной раз милейшие дамы, что всерьёз считали себя его подругами и чуть ли не духовными наставницами; он закрывал глаза, думая о Смирновой-Россет, на его губы взбегала насмешливая улыбка, ещё чуть, и ядовитая, но садился он за стол, и обмакивал в чернильницу свежееобточенное перо, и опять – писал, писал, писал...

Что есть все его сочинения, как не одно, растянутое на множество лет, письмо?

Кому? Людям? Он в этом не уверен. Людям он нужен для славы, а порою для шельмования. В публичном издевательствах над другим люди находят удовольствие. Порой оно важнее сытного обеда у Гальяни. Богу? А разве Господь нуждается в наших письмах? Слова Божест-

венной Литургии, вот они, да, похоже, спущены нам Господом с небес, а Иоанн Златоуст и Василий Великий лишь поднатужились, прищурились да словеса эти превышенебесные – и записали.

Знаки! Символы! Буквицы! Крюки! Знамёна! Его прозу можно петь, ибо она – поэзия. Он-то сам знает об этом; а хорошо ли, если об этом догадаются люди? Люди, люди! о! вы только притворяетесь, что вам нужна работа духа. Нет! вам нужно ублажить прежде всего ваше брюхо. Пузо! Тезиво! Кожаный ваш, необъятный мешок с потрохами! Для чего? Вы живёте для того, чтобы есть? Или едите для того, чтобы...

Вкус. Дыхание. Запах. Нос чует россыпи запахов. Вселенная запахов, а нос один; он может среди запахов заблудиться, сгинуть и умереть. А глаз? Глаз – это звезда. Звёздный огонь. Глаз, коли сможет, узрит и высоченный купол горних сфер, и красный inferнальный огонь великого подземья. Преисподняя на земле – война, кровь, убийство, гибель. Голод и смерть детей. Разве такое можно поставить на театре? На театре можно только комедию; люди любят хохотать. Смейтесь во всю глотку над его хохлатым поддельным Ревизором! Он все наврал дураку Городничему, этот смыслённый Хлестаков. Ах, хлётский господинчик! Сколький, как уж. Над другими насмешник, да ведь и сам над собою тоже – насмешник! О, какое же счастье над самим собой смеяться! Вот он – умеет. Над собой – в полный голос. Взхлёб. А потом ему становится себя жалко, жальче некуда.

А потом из-под дожелта навощённого паркета сочится чёрный дым, и в щели вползают черти. Его личные, домашние чертенята, похожие на чёрных котят. Только что не мяукают.

Эй, черти, вы живые или мёртвые?

Мёртвые души... Мёртвые души... А что если есть души живые? Всецело живые? Безоглядно живые? Вот он сам живой или нет? А кто его знает! Всю жизнь он страшно боялся, что его похоронят спящего. Просил всех, умолял: не хороните меня уснувшего, даже если сердце мое будет биться единожды в час, в полдня единожды! Это, друзья, оцепенение такое. Оно и среди жизни меня охватывало. А куда при этом девается душа моя живая? Куда?

Нет ответа. И несётся за окном метель. И крутит злбные вихорьки безумная позёмка. Он всю жизнь боялся умереть зимой. Зимой холодно. А ну как он очнется в гробу, а там – тьма и хлад? И воздуху, главное, воздуху нет. Ни глоточка. Куда без воздуху улетишь? Звёзды пронзают длинными иглами дегтярный мрак. Кузнец Вакула на дрожащем от холода чёрте летит над безбрежными снегами в град Петербург, к самой царице, добывать любимой Оксане драгоценные черевички. Мороз лютый. Господи, если мя похоронят спящего и я в могиле проснусь, умоляю Тебя, Живодавче, прошу – выпростай мя из гроба, подыми над зимой, над алмазно-блесткими сугробами в широкие небеса, понеси в Твоей длани Отчей над миром, что я так люблю... любил!.. о, ещё буду, буду любить... хоть немножечко, хоть минуту, хоть мгновенье жалкое, бесценное – буду...

Время, вот что он рисовал всегда. Слова служили ему кистями, красками. А яркие краски он обожал. Майская ночь. Страшная месть. Потусторонний мир он, попеременно хохоча и плача, храбро сотворял посусторонним: для людей. Читатели?.. молещички над книгами судьбы?.. певцы на клиросе природы?.. да нет, они все едоки. Они –

его – едят! Причмокивают, облизываются, пожирают за милую душу! Откусывают кусочек, другой, как от дымящегося пирога с мясом, как от гигантского родимого вареника с вишнями... Слова плетутся полосками сдобного теста, заплетаются в косицу, бережно кладутся на пышный пирог сюжета. Ах, что вы, господа, никакого сюжета на самом деле нет! И быть не может! Сюжет рождается сам, когда художник видит пред собою человека в полный рост. Или кучевое облако над ржаными полями. Или покосившийся, замшелый крест на кладбище. Или смоляной омут в лесной реке. Жизнь – свинья-копилка сюжетов; безжалостно разбей копилку, недоросль, не стыдись! На Рождество, парубок, купишь себе то, о чем мечтал весь год!

...а о чём он мечтал всю жизнь?

...мечтал преодолеть, избыть одиночество.

Обложенный бумагами, потеки воска и нагар на свечах, и рассвет льётся зелёной пахтой в тусклые, с прошлого года не мытые окна, он внезапно соображал: Господь щадит его, опекает, он дарит ему одиночество, чтобы он – работал. Чтобы рядом не шуршали, как мухи в кулаке, жена-дети-чада-домочадцы-тести-тёщи-приживалы-компаньоны.

Сочинять, эго дело! В матушке Расее не пишет разве ленивый. Писанья, да то соблазн, то сладкая отравка, глотнешь хоть раз – писчий зуд не отстанет, так под ложечкой и будет сосать, и рот пересохнет от жажды: родить! запечатлеть! навек оставить!

Какое там навек. С чего он взял, что написанное им станет бессмертным? Самомнение... гордыня. Молиться надо, чтобы Господь отвел смертный грех.

Молиться... молитва... неужто молитва – высшее, что во слове человеку дано? Стать ли ему Романом Сладкопевцем, Ефремом Сирином? О, стать ли царём Давидом... Неужто его Псалтырь впереди? А всё, что он сочинил, лишь пальцев разминка, проба пера, лишь многолетняя подготовка к ней, Святой его Книге?

Святое. Что оно такое? Почему его так тянет создать святое, священное?

Не значит ли это, что ему, грешнику, стало вдруг охота стать – святым?

Но ведь опять гордыня. Соблазн. И кто поручится, что посредством писательства сделать то возможно?

Оборачивался. Мыслью глядел на созданное.

Ах, как же там, позади, в юности его, всё ярко, вкусно... ослепительно, чисто, ясно, солнечно, звёздно, грозно, опасно... там и молитва соседствует с любовью, и россыпь ягод на свежей траве – со внезапно налетевшей страстью, с объятиями и поцелуями... Все это Божие? Все это радость? Да. Почему же надобно было ему всю жизнь изображать треклятого чёрта, его рожки, его мерзкий пяточок, его свинячьи глазёнки, его пьяные мохнатые уши?

Господь показывал ему красоту и мерзость. Счастье и гадость. Солнце и выгребную яму.

Показывал ему любовь и ненависть.

Так сплетались перед его закрытыми глазами Свет и Тьма, и он лежал ничком на паркетном полу, перед открытым окном, в жаркую летнюю ночь, и слёзы медленно стекали на плашки паркета из уголков глаз, и опять он воображал метельную зиму, и белую слепую смерть, и слышал ветра вой, здесь и сейчас, слышал тот будущий протяжный вой – отсю-

да; он часто замечал за собой, что он владеет временем, видит и провидит время, а оно, в обнимку с пространством, проплывает под ним, как земля плывёт под брюхом летящего на юг журавля, и из поднебесья он озирает землю, прощается с ней, и не хочет он диаволу говорить ни «здравствуй», ни «прощай», он хочет лишь с Богом обняться, да разве такое возможно, на что он, дерзкий, посягает, да кто ж ему разрешит?

И он понимал: все смерть разрешит.

...и надо, о, надо поглядеть в огонь.

Глядеть на огонь, это так успокаивает.

Встает, приоткрывает дверцу печи. Подбрасывает в её остывающий зев поленья.

Дубовые поленья, дуб горит дольше всего, и в комнатах тепло хранится до утра.

Петербург нереален. Он ненастоящий. Москва более напоминает Украину, она цветная, бешеная, солнце там с размаху ударяет тебе в щеку, а не рисует тебе лицо призрачной колонковой кистью. Петербург – призрак, Москва – дебелистая хохочущая девка. Пушкин говорил ему: Петербург – прихожая, Москва – девичья, деревня же наш кабинет. Что ж, и в этом правда сокрыта!

Боже мой... да вся его жизнь – призрак... а смерть, смерть тоже призраком станет?..

Поленца схватил огонь, стал жадно пожирать. Он глядел на огонь, и языки огня плясали в его широко открытых глазах. Всё суета. Всё тщета. Всё, им написанное, – доказательство гордыни, не больше. Сжечь никчемную словесную вязь? Перед выдохом песни, перед музыкой молитвы – какие там его фантазии? Жалкие потуги на создание мира. Мирь создал Бог, и лишь однажды. И более сей Вселенский подвиг не повторял.

И воскрес-то Господь лишь раз; Он и посейчас жив, и придёт Он к нам, живой, Вторым Пришествием. Душа живая.

Придёт, и что? Чем он, Николай Васильич Гоголь, отчитается перед Ним?

Хома Брут. Акакий Башмачкин. Бобчинский и Добчинский. Вий. Павел Чичиков. Майор Ковалев. Тарас Бульба. И... и...

...огонь. Огонь. Это последняя истина.

Огонь горит, и его душа живая горит.

Так ли будет гореть, когда будет умирать?

С телом расставаться – к Богу уходить. А там, у Бога-то, небось, огонь сплошной: предвечные звёзды, горят-пылают негасимо.

А рукопись? Зачем она? Людям ли нужна? Ему ли? Богу?

Ведь всё равно всё закончится. И всё, по Писанию, в бешеном пламени дотла сгорит.

Так за чем же дело стало? Что медлит он?

Сжечь. Всё написанное не сможет. Разлетелось всё по свету. Так хоть последний свой выдох сжечь: бумага так быстро горит, жарко и слепяще, и потом долго смотреть на чёрные хлопья, ворошить их в печи обгорелой ржавой кочергой.

...а может, это то самое, Адское пламя, из детской, бедной церковки его... намалёванное на широкой стене...

...нет, что он, с ума сошел, Божий то огонь, Божий...

Теперь уж всё равно.

Течёт время. Утекает. Обволакивает забвением легенды. Осушает слёзы. Кто верит, что Гоголь перевернулся в гробу? Те, кто верит в это, молчат об этом. А зачем говорить?

Он хотел стать проповедником, молитвенником – а остался русским писателем. Художником.

Великим, необычным, странным, невероятным, космически щедрым, трагичнейшим и праздничнейшим, колоссально высоким и нищенски низким, туманным и торжествующе ясным, драгоценным смарагдом, русскою мифической вязью, всем малоросским ковром луговин и речушек, ярмарок и колядок, всем сумасшедшим сражением чертовни и Ангельского, Серафимского хора, воинства Сил бесплотных под водительством Михаила Архангела, всей царственностью и призрачностью Петербурга, всеми серебряными и золотыми сорожками и карасями на ивовых куканах, всем полнощным небом с крупными, как алмаз «Шах», звёздами, пылающими на небесной границе Востока и Запада, всеми безумными, грандиозными соборами и куполами Москвы, всеми щебетами птиц и визгами убитых на охоте зверей, всеми протяжными песнями на сенокосе и на пожинках остался он, да не в литературе даже, он смело вышел из литературы, выпростался, вырвался, вылетел вон из неё, как аист, рожденье человека предвещающий, как Ангел, навек поборовший прилипучего, приставучего чёрта, – остался он, остался, даже и сожжённый – остался, даже и забытый – остался, даже и смертно запомненный – остался, даже и во сне увиденный – остался: дождётся он, дождётся, чудесный наш, и Второго Пришествия, и воли и любви, и искупления и прощения, и новых слёз, и нового веселья, и новых громких колядок на синие снежные Святки, и нового Вознесения!
...дождётся.

...да знал он это. Знал. Всё он знал.
На то он и художник.